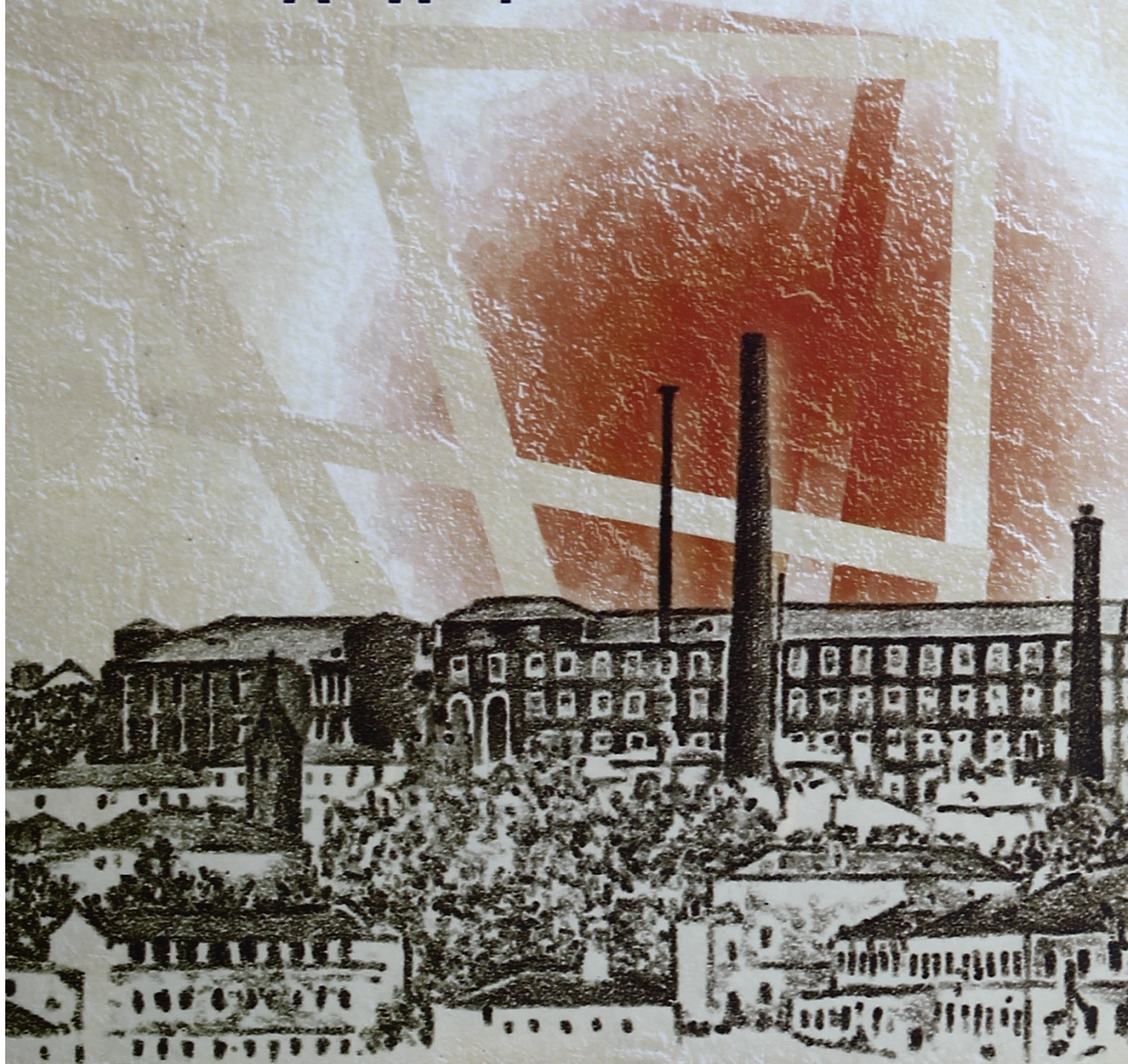


32.112К

Л. Н. ТАГАНОВ



«ИВАНОВСКИЙ МИФ»
И ЛИТЕРАТУРА

Л. Н. ТАГАНОВ

«ИВАНОВСКИЙ МИФ»
И ЛИТЕРАТУРА



ИВАНОВО ЛИСТОС 2014



ГЛАВА IX ИВАНОВСКОЕ БРАТСТВО ПОЭТОВ-ФРОНТОВИКОВ



А. ЛЕБЕДЕВ



Н. МАЙОРОВ



М. ДУДИН



ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ В ГОД 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ.
СИДЯТ (СЛЕВА-НАПРАВО): Д. ПРОКОФЬЕВ, М. ЛЕШКОВА, П. СУРЕЕВ, В. ДОГАДАЕВ;
СТОЯТ: В. КОНЮШЕВ, В. ЖУКОВ, В. ВЕЛИКАНОВ, Н. СИЛКОВ, Н. ГРАЧЕВ, М. ЗАЙЦЕВ



С ивановским краем связана целая плеяда поэтов фронтового поколения, чьи имена вошли в историю советской литературы. Самые известные из них: Алексей Лебедев (1912–1941), Николай Майоров (1919–1942), Михаил Дудин (1916–1993), Владимир Жуков (1920–1997).

В советском Иванове их жизнь и творчество всячески пропагандировалось в целях придания городу имиджа не только трудовой, но и боевой славы. А «kozyрять», действительно, было чем: в крае, который никогда не был театром военных действий, возникла группа первоклассных поэтов, воспевавших героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом должны знать все!

В школах, фабричных цехах проводились политчасы, посвященные славным землякам. Их именем называли улицы. В «литературном» сквере установили бронзовые бюсты Лебедева и Майорова. Дудин и Жуков удостоены звания почетного гражданина города. Литературные премии, различные фестивали в честь названных поэтов до сих пор считаются важными событиями в культурной жизни края. Но, скажем прямо, с исчезновением СССР массовый интерес к этим легендарным в советские времена именам падает. Кажется, еще немного — и эта страница ивановской поэзии будет сдана в исторический архив в силу ее курсивной советскости. А вот этого допустить нельзя! Если такое случится, то мы потеряем нечто большее, чем отработанный миф. Мы рискуем потерять какие-то важные ориентиры в понимании сложности развития русской истории советского периода, без которой не может состояться наша нравственно-духовная идентификация в современном мире.

То, что мы называем современностью, тысячами нитями связано с недавним советским прошлым. И оно, это прошлое, далеко не однозначно даже в той его части, где советское выступает в рамках так называемого большого сталинского стиля, литературы второй половины 30-х годов, то есть в то самое время, когда будущие «фронтовики» заявили о себе как новое поколение, воспитанное новой эпохой.

Казалось, все в их первоначальном творчестве отвечало нормам тогдашней советской жизни. Они сами творили миф о людях, которые сильны прежде всего причастностью к стране, где каждый может стать героем в силу того, что, благодаря воле Сталина и его большевистской партии, молодые живут в передовой стране мира (вспомним знамени-

тое «я другой такой страны еще не знаю, где так вольно дышит человек»). Их лирический герой, как выразился однажды С. Наровчатов, включал в себя типичность героического образа, запечатленного в классике советского искусства, на котором воспитывалась предвоенная молодежь. Павел Власов и Павел Корчагин, фильмы о Ленине, Сталине, Щорсе, Пархоменко, песенное творчество тех лет, прославляющее непобедимое сталинское государство, — все это впитывалось будущими «фронтовиками» в качестве основной культурно-жизненной реальности. Недаром тот же Наровчатов, вспоминая о Н. Майорове, подчеркивая его типичность для молодежи предвоенной формации, сравнивал его с героем кинофильма «Юность Максима» в исполнении Б. Чиркова. И далее автор статьи «Улица Николая Майорова» говорит, что и в самой манере держаться, и в одежде Майоров, как и многие его сверстники, «ощущал себя внутренне родственным сыновьям сотен Максимов большевистского подполья и гражданской войны»¹.

Нетрудно догадаться, в каком ракурсе должно было предстать Иваново — родина будущих «фронтовиков» — в свете такой социальной идентификации. Да, конечно, городом особой пролетарской закваски, свято хранящем революционные традиции. Критики, писавшие о них в советские годы, не жалели слов, подчеркивающих это обстоятельство. «Отец и мать у Николая — ивановские рабочие, брат — военный летчик. Семья была типичной и в то же время образцовой»². В. Жуков в своих воспоминаниях о Майорове считает необходимым выделить тот факт, что Майоров с пятого по десятый класс сидел за той же партией, которая в свое время была и партией Дмитрия Фурманова³. Авторы книги «Очерк поэзии текстильного края», обращаясь к первому поэтическому сборнику М. Дудина «Ливень» (1940), ставят в особую заслугу автору то, что он прославляет здесь дорогого ивановцам М. В. Фрунзе, который «еще до Октябрьской революции организовал рабочих ивановских окраин, а под Перекопом

¹ Наровчатов С. Атлантида рядом с тобой. М., 1972. С. 19.

² Там же. С. 20.

³ См.: Жуков В. «Мы были высоки, русоволосы...» // Тропинки памяти. Воспоминания и статьи о писателях-ивановцах. Ярославль. 1987. С. 155.

Навстречу снарядам,
Под огненным градом
Он с нами шагал впереди»¹.

В. Ружина считает крайне необходимым включить в свою книгу о Лебедеве блестящую характеристику, выданную комсомольской организацией ивановского строительного техникума для поступления выпускника в Военно-морское училище («Бюро комитета ВЛКСМ отмечает, что тов. Лебедев всегда добросовестно и по-большевистски относился к общественной работе, являясь примерным учащимся, и рекомендует его в Военно-морскую школу, как одного из наиболее выдержанных, политически стойких и проверенных на общественной работе комсомольцев»².)

Не надо в данном случае, справедливо усматривая односторонность, в показе места Иванова в жизни молодых поэтов, сваливать всю вину на критиков. Сами поэты часто подводили читателей к мысли об их особой преданности славному рабочему городу. Вспомним А. Лебедева, который, уезжая из Иванова, написал такие стихи:

Я рос на твоих заводах,
Учился держать зубило,
Впервые входил в работу,
Впервые вставал к тискам.

.....
Мне двадцать годов минуло:
Знамена багровых зарев
В осенний зовут поход,
И утро дымится сине –
Ты, зная заводского парня,
Билет выдаешь дорожный
И назначаешь на флот...
Мне, может быть, было жалко
Оставить тебя, товарищ,
Суровый рабочий город,
Взрастивший меня – бойца,
Но силу своей закалки,
Клянусь, не ослабила ярость
Зеленых морских буранов,
Тяжелых, как глыбы свинца.

(«Иваново», 1935)

¹ Поликанов А., Орлов А. Очерк поэзии текстильного края. Иваново, 1959. С. 102.

² Ружина В. Песня как парус. (Об Алексее Лебедеве, человеке и поэте). Ярославль, 1979. С. 18.

Впоследствии легенда о героическом штурмане подводной лодки как заводском «парне из нашего города» будет закреплена в воспоминаниях, критических работах и прежде всего в ивановских материалах о Лебедеве¹.

Причем здесь не лишне сказать, что видение и прославление Иванова как одного из самых советских и партийных городов присутствует у ивановских «фронтовиков» на протяжении всего существования советской власти. Поэтические сборники В. Жукова 1960–80-х годов могут служить этому доказательством. Вот, например, стихотворение «Витязи революции». С искренним восторгом рассказывается здесь об ивановских коммунистах, которые всегда там, куда звала их партия. Они были частью великого государства, чья сила в идеологическом советском единстве:

Где тяжело, где жарко, забот не счесть, -
не надо спрашивать дважды:
«Ивановцы есть? Коммунисты есть?» -
откликнутся сразу:
- Конечно, есть!
А как же без нас-то, как же?

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что «фронтовики» представляли собой насквозь политизированное поколение, берущее «под козырек» при словах «советское государство», «Сталин», «партия». Но почему же в таком случае они так непросто входили в литературу? Чем привлекло их творчество, например, «шестидесятников» и почему сегодня, пусть и не в массовом виде, интерес к нему остается? Общий ответ здесь может быть таким: со временем все отчетливей стал вырисовываться потаенный план жизни и творчества «фронтовиков».

Оказалось, что многое здесь, даже если брать начальный период, не укладывается в рамки «типичного героизма» 30–40-х годов. Героико-патетическое начало, пресловутая партийность творчества переплетается в их судьбе с трагическим мироощущением, приобретающим особо острые формы в конце века.

Впрочем, и в начале пути представление о трагедии этого поколения уже давало о себе знать.

¹ См., например, воспоминания А. Фролова «Певец моря (об А. А. Лебедеве) // Тропинки памяти: Воспоминания и статьи о писателях-ивановцах. Ярославль, 1987.

Уже само «поколенческое» самосознание молодых поэтов второй половины 30-х годов было в какой-то мере вызовом «типовым» представлениям о времени. Поколение в их понимании — не отвлеченное представление о советской молодежи, а избранное эпохой живое братство молодых людей, готовых совершить предназначенное только им. И это предназначение они видели в спасении не только России, но и всего мира от коричневой чумы фашизма. При этом будущие «фронтовики» не только не исключали своей гибели, но акцентировали внимание на этом, вольно и невольно вступая в конфликт с массовой советской поэзией, с такими, например, стихами, печатавшимися в поэтическом сборнике «Оборона» (Л., 1940): «Реют соколы в лазури // безграничной вышины, // Ни туманы и ни бури // Им, отважным, не страшны». Или: «Нависли тяжелые, // Черные тучи, // И если фашисты // Навяжут войну, // Пойдем мы на битвы // И силой могучей // Врагов уничтожим, / Восславим страну». А теперь вспомним ключевые строки из программного стихотворения Н. Майорова «Мы»:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяниях,
В столбцах газет, в набросках на холсте...

Как не похоже «оборонное» массовое «мы» на «мы» Николая Майорова! В первом случае оно не больше, чем знак обезличенного большинства. В майоровских стихах «мы» — трагическое обозначение поколения живых людей, потенциальных творцов, растворившихся в героическом мифе, но явно не реализовавших всех своих индивидуальных человеческих возможностей.

Обратим внимание на сам жанр этого произведения Майорова. Это одновременно и гимн героическому поколению, и реквием, и послание в будущее, сродни знаменитому вступлению к поэме В. Маяковского «Во весь голос». Суть обращения Майорова к потомкам можно сформулировать так: мы хотим, чтобы наша жертвенность не была напрасной; реализуйте то лучшее, что было в нас, идите дальше, ведь боролись мы в конечном счете за сохранение гуманистических основ мироздания.

Хорошо сказал о своеобразии вступления в мир «майоровской» когорты поэтов А. Немировский, который сам был причастен к этой когорте: «Чутко и напряженно вслушивались начинающие поэты в эпоху, улавливая раскаты близкой грозы. Ощущение надвигающейся тревоги и беды для себя и своего народа было чуждо многим из уже сложившихся и печатавшихся поэтов того времени. Оно могло восприниматься как неоправданный пессимизм и трактоваться как оппозиция тезису, что победа будет быстрой и едва ли не бескровной. Вот почему был рассыпан университетский сборник, и «Мы» не вышло на страницы многотиражки»¹.

Еще раз подчеркнем: поэтическое «поколение 40-го», которое представляли Майоров и его ивановские собратья по перу, пыталось осмыслить свое явление в крупно историческом, социальном масштабе. При этом оно отталкивалось от советской реальности, того лучшего, что было создано человечеством. СССР в поэзии будущих фронтовиков — это новая передовая цивилизация, центром которой является московский Кремль (см., например, стихотворение Н. Майорова «Ни наших лиц, ни наших комнат...»)

И вместе с тем в это широкое государственное пространство врывается микрокосм природного, личного существования, в результате чего советский мир в восприятии «поколения 40-го года» перестает быть идеологически и художественно односторонним. Как отражается это в «ивановском» мифе?

Снова обратимся к Н. Майорову, так как именно у него рельефней всего запечатлено сочетание большого и малого, общего и личного, «вселенского» и «родного». Сочетание, обретающее определенную образно-стилевую направленность, соотносимую с поисками в русской поэзии не только своего, но и гораздо более позднего времени, а именно периода «оттепели».

Формируясь как личность в пролетарском Иванове, Майоров мыслил этот город точкой пересечения разных исторических эпох, деревенского и городского существования России, нового и старого уклада жизни. На языке поэтических символов это выглядело в первую очередь как непростые взаимоотношения между образом земли и образом неба.

¹ Немировский А. О Николае Майорове (Воспоминания) // Откровение. Лит.-худ. альманах № 2. Иваново, 1995. С. 137.

Казалось бы, согласно общей направленности «культуры Два»¹, «большому сталинскому стилю», мы встречаемся здесь с преобладанием вертикального начала над горизонтальным, с устремленностью в небо, означающим выходы за рамки частной, «местной» жизни. Прошлое родного края жметя к земле, оно существует в тесном избяном пространстве, которое давит на человека, лишая его возможности видеть «небо». Прочитируем первые две строфы из майоровского стихотворения «Отцам»:

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком....

Здесь сливается воедино лирическое «я» и голос человека, рвущегося из дореволюционного захолустья в простор большой жизни. Тема малой родины таким образом начинает приобретать эпическое звучание. Не только это стихотворение, но и другие произведения Майорова являлись фрагментами из большого незаконченного лиро-эпического повествования, где переплетается история «отцов и детей». И «дети» в этой истории, наследуя прежде всего революционное отношение к миру, выходят в пространство «вечных исканий крутых путей к последней высоте». Отсюда и культ летчика в стихах Майорова. Он гордится тем, что его старший брат служит в военной авиации. Иваново в его поэзии — город, где живут летчики-герои, которые готовы во имя высоты пожертвовать собою. В. Жуков в своих заметках о Майорове вспоминает: «Помнится, году в тридцать восьмом в наших местах (а жили мы на окраине Иванова) разбился самолет. Весь личный состав погиб.

На зеленом Успенском кладбище на другой день состоялись похороны. В суровом молчании на холодный горький песок первой в нашей мальчишеской жизни братской могилы летчики возложили срезанные ударом о землю винты самолета.

А вечером Коля читал стихи, которые заканчивались строфой

¹ См.: Паперный В. Культура «Два» М., 1996.

О, если б все с такою жаждой жили,
Чтоб на могилу им взамен плиты,
Как память ими взятой высоты,
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы...»¹

Вроде бы полное совпадение с общими, типичными особенностями героической модели того времени: советские люди в едином порыве покоряют «пространство и время», и жизнь их при этом целиком принадлежит государственному делу, «инструменту», с помощью которого это дело вершится. Но если внимательно присмотреться к стихам Майорова, то окажется, что «летчики», «небо» и многое другое далеко не совпадает здесь с вертикальными образами массовой предвоенной поэзии, исключаящими мир отдельной личности.

Молодые романтики предвоенной поры из пролетарского Иванова при всем стремлении к «высоте», означающей прежде всего воплощение советского идеала, к счастью, чувствовали себя живыми людьми. «Земля» для них была не менее важна, чем «небо». И сегодня, может быть, самое интересное в их жизни и поэзии открывается не в гражданских декларациях, а во внутреннем конфликте, порой тайном даже для них самих. В конфликте между «общим», «типичным» и «самостью», неповторимостью их явления. Этот конфликт ощущается, например, в следующих стихах, посвященных летчику-брату Алексею:

Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

И через тьму сплошных загадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придет потом.

Для молодых поэтов предвоенной поры важен сам процесс жизни, поиск, падения и подъемы. И точкой отсчета становится здесь детство, родной дом, природное начало мира. «В стихах Майорова очень часто встречаешься с травмами, с ливнями, которые «ходят напролом, не разбирая, где канавы». А постоянная нота «кочевья», вагонов, вокзальных рас-

¹ Тропинки памяти. С. 155.

ставаний — как бы мост, соединявший ивановского юношу со столицей, с университетом...»¹

Критик Н. Банников, кстати говоря, друживший с Майоровым, точно подметил в своих заметках о поэте ноту кочевья. Продолжая наблюдения критика, можно говорить и о нотах разлада и поисках нового лада, мотиве страстного порыва к любви в майоровской поэзии. Между прочим, последнее дает о себе знать в самом синтаксисе, порывистости интонационного рисунка стихов.

И здесь уместным будет вспомнить ту сцену из воспоминаний С. Наровчатова, где рассказывается о его первой встрече с Майоровым на одной из литературных встреч в Москве, где Николай представлял молодых поэтов МГУ: «И вот на средину комнаты вышел угловатый паренек, обвел нас деловито-сумрачным взглядом и, как гвоздями, вколотил в тишину три слова: «Что — значит — любить». А затем на нас обрушился такой безостановочный императив — грамматический и душевный, — что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть ли не растерялись.

Идти сквозь вьюгу
Напролом,
Ползти ползком.
Бежать вслепую,
Идти и падать. Бить челом,
И все ж любить ее —
такую!

«Такую» — он как-то резко и в то же время торжественно подчеркнул <...> Стихи неслись дальше:

Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм
зачатье.
Нащупать стены,
холод плит...
Швырнуть пальто
на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.

¹ Банников Н. Памяти отважного друга // Тропинки памяти. С. 162.

Две эти последние строки меня покорили, и я ударил кулаком по столу. Майоров только покосился в мою сторону и продолжал обрушивать новые строки. И когда, наконец, дойдя до кульминации страсти, вдруг на спокойном выдохе прочитал концовку <...>, мы облегченно и обрадовано зашумели, признав сразу и безоговорочно в новом нашем товарище настоящего поэта»¹.

Ориентируясь на высокие гражданско-творческие цели, будущие «фронтовики» порой выставляли себя суровыми аскетами, готовыми пренебречь «слишком человеческими» чувствами, якобы мешающими исполнить их главное дело. А. Лебедев в письмах к матери неоднократно говорит о своем желании разрубить гордиевы любовные узлы, в будущем «не связываться с женщинами», отказаться от мысли о семейном счастье.

«Трата сердца, нервов и лучших чувств, — писал Лебедев в письме от 22 ноября 1937 года, — не проходит бесполезно, а истинное счастье, по-моему, не в семье и не в личном уюте, а в неустанном выковывании в себе тех качеств, которые имеют и имели большие люди на нашей земле»².

А в другом письме, написанном накануне Великой Отечественной войны, Лебедев говорит матери о своем желании: «высушить свою душу так, чтобы осталась в ней любовь к тебе, родине и службе...»³.

Такого рода риторизм можно встретить и у Майорова. В стихотворении «Тебе» читаем:

И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!

И здесь то же: сначала атака, стихи и только потом ты.

Однако не будем забывать о том, что все эти декларации принадлежат совсем молодым людям, которые просто в силу своего возраста склонны были схематизировать жизнь.

К счастью, засушить душу они не могли. Внутреннее богатство личности во всей ее сложной противоречивости определяло их глубинное жизнетворческое поведение.

¹ Наровчатов С. Атлантида рядом с тобой. С. 17–18.

² Лебедев А. Письма к матери / Публ. В. Сердюка. // Откровение. Лит.-худ. альманах № 2. С. 142.

³ Там же. С. 160.

Как ни стремился А. Лебедев декларировать свой мужской ригоризм, но освободиться от власти личных чувств он не мог. Об этом убедительно говорится в книге Л. Щасной «Неоплатимый счет». В частности, мы встречаемся с такой психологической характеристикой поэта: «Он выстраивал себя сознательно и все пытался душой дорасти до тела.

Мальчик был очень похож на настоящего мужчину: он курил трубку и скупно цедил слова; был физически очень крепок. Но сердцевина его души оставалась мягкой! Внутри он был не железный и не бронзовый, а — очень уязвимый, подверженный сомнениям, ласковый, нежный и постоянно нуждающийся в сочувствии женщины. Рисунок блестяще усвоенной роли далеко не всегда совпадал с реальной жизнью реального Алексея Лебедева. Мужчина продолжал оставаться мальчиком с тревожной душой. Похоже, что при внешней уверенности в себе он постоянно сомневался в чем-то, словно боялся поступить не так, как должно. Алик (домашнее имя Лебедева — Л. Т.) до конца не мог преодолеть потребности доверять свои душевные переживания, сердечные тайны; и даже как будто постоянно отчитывался перед ней, «Черной Жемчужиной» его жизни»¹.

И снова так или иначе нам приходится приоткрывать начальные, ивановские страницы жизни «фронтовиков», так как именно здесь, в этом фабричном городе, скрывались многие самые сокровенные тайны их личного существования. Для Н. Майорова Иваново навсегда осталось городом первой любви, и ему никогда не дано было забыть Московскую улицу, связанной с этим его душевным потрясением:

Ту улицу Московской называли
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Ее простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стеклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза...²
(«Апрель»)

¹ Щасная Л. Неоплатимый счет: Лирико-публицистическое повествование о судьбе поэта-мариниста Алексея Лебедева. Иваново, 2003. С. 189.

² О первой любви Н. Майорова см.: Сердюк В. Выше смерти: страницы жизни Николая Майорова // Сердюк В. Судьба писателя. Воспоминания и размышления. Иваново, 2000.

Именно в Иванове (и это кажется на первый взгляд странным) Майоров открыл «языческую» почву для своих стихов, где человек предстает вписанным в природу всеми своими клеточками:

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды...

(«Август»)

Своеобразным авторским комментарием к этим стихам может служить письмо, написанное Н. Майоровым Ирине Пташниковой в Иванове во время летних каникул 1940 года: «...Спим с Костей (Константин Титов — земляк, ближайший друг Н. Майорова — Л. Т.) у него в саду под яблонями. Прежде чем лечь, идем есть смородину и малину. Возвращаемся сырые — роса. На свежем воздухе спать замечательно: смотришь в ночное небо, протянешь руку — целая горсть холодной, влажной листвы; кругом — ползет, шевелится, и кажется, что дышит «свирепая зелень», бьющая из всех рассилен и пор сухой земли. И впрямь слышно, «как мир произрастает»! Изредка на одеяло заползает какой-нибудь жучишко. Просыпаемся от солнца, которое, проникая сквозь ветви, будит нас и заставляет жмуриться... Вот она — жизнь. Как сказал Велимир Хлебников:

Мне мало надо:
Ковригу хлеба,
Да каплю молока,
Да это небо,
Да эти облака.

Показательны стихотворные цитаты в этом письме: кроме Хлебникова, здесь цитируется стихотворение Э. Багрицкого «Весна» («И вот из коряг, / Из камней, из расселин / Пошла в наступленье / Свирепая зелень»). И здесь же автоцитата из вышеуказанного стихотворения «Август»: «И слышу я, как мир произрастает / Из первозданной матери — воды». В связи с этим цитированием стоит вспомнить меткое наблюдение Л. Аннинского о молодых поэтах предвоенной поры: «...В той книжной сокровищнице, из которой черпали они вдохновение, три имени овеваны особой любовью: Маяковский, Багрицкий, Хлебников. Это значит: трибунная мощь слова, плюс его языческая сочность, плюс его артистическая утонченность. То

самое сочетание напора и изящества, которое годы спустя — целую войну спустя! — дало у их поэтических соратников <...> уникальное сочетание «барокко и реализма», мощной символики и «грубой» реальности деталей»¹. К выстроенному критиком поэтическому ряду, имея в виду именно Н. Майорова, надо бы добавить еще одно имя: Павла Васильева с его потрясающим природно-чувственным напором. Не забудем, как однажды в полемическом запале, отвергая обвинения в излишней натуралистичности его стихов, Майоров воскликнул: «Я чувствую так, как чувствует здоровый человек со всеми его инстинктами<...> Я хочу идти от природы...»².

А теперь о Лебедеве. Как бы он ни представлял себя «заводским парнем» из революционного города, его родословная (по материнской линии — дворянские корни, по отцовской — священнические) так или иначе давала о себе знать. Иваново было для него во многом сакральным местом, с которым связывались потаенные стороны его душевной жизни. Здесь жила горячо любимая, обожаемая им мать — Людмила Владимировна. С ней он мог говорить о самом сокровенном. С Ивановом была связана трагедия лебедевской семьи, разыгравшаяся в 1938 году: арест главы семейства — Алексея Алексеевича Лебедева. Этот глубоко порядочный человек, служивший юрисконсультантом на фабрике НИМ, был объявлен «врагом народа», пособником фашистов и расстрелян.

Сын не отрекся от отца, узнав о происшедшем. «Несмотря на все, — писал Алексей брату Юрию в июне 1941 года, — мы с тобой сыновья честного человека...»³.

После ареста отца Иваново стало представляться Лебедеву городом опасным для дорогих ему людей. Он строит планы, связанные с отъездом из Иванова матери, брата⁴. Но, с другой стороны, Лебедев навсегда остался благодарным Иванову за то, что оно подарило ему встречу с женщиной, которую он называл своей Беатриче, — с Марией Львовной Феддер.

Они познакомились в начале 1930-х годов в Доме инженерно-технических работников (ДИТР) на улице Батурина, бывшем в то время одним из центров культурной жизни Ива-

¹ Новый мир. 1974. № 4. С. 218.

² Цит. по кн.: Куликов Б. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества. Ярославль, 1972. С. 41.

³ Цит. по кн.: Щасная Л. Неоплатимый счет. С. 194.

⁴ См. об этом в вышеназванной книге Л. Щасной.

нова. М. Феддер в беседе с автором книги «Неоплатимый счет» так вспоминала о своих первых встречах с юным Лебедевым, с Аликом, «кубиком» (домашние имена Алексея): «Мой отец, мачеха, два брата бывали здесь с большим удовольствием. Алик Лебедев влился в нашу компанию через братьев Филипповых. Он был такой милый, застенчивый, правда, чтобы скрыть свою неловкость, иногда напускал на себя, не очень умело, браваду. Он бывал и у нас дома. Мы жили в двухэтажном деревянном особняке. В нижней комнате стоял рояль. В доме всегда было полно молодежи, смеха, музыки. Мы все увлекались спортом. Я любила лыжи, плавание. Алик был прекрасным спортсменом. Очень сильный, широкоплечий, с великолепно развитым торсом (он ведь и боксом занимался), Алик всегда оставлял ощущение физического и душевного здоровья. И, конечно, мне льстило, что этот начитанный, интеллигентный юноша влюблен в меня. Поклонников было много, и я не сразу оценила его незаурядность. Потом он уехал служить в Ленинград... И началась переписка, которая длилась семь лет и год от года становилась красивей и содержательней»¹. О чем же были его письма?

И здесь опять прибегнем к воспоминаниям М. Феддер, на сей раз к ее «Страницам лирической биографии (Памяти Алексея Лебедева)», напечатанных в альманахе «Откровение». «Все эти долгие семь лет, от момента первой разлуки до разлуки последней, он писал ей много и часто. Писал прозой и стихами. Писал о себе, об учебе, о Ленинграде, о людях, с которыми он встречался, о всем том, что наполняло его жизнь. И всем эти годы он писал ей о Любви <...> Они виделись редко и мало, но ни время, ни расстояние не сделали их чужими. Казалось бы, такие иллюзорные и слабые нити, связавшие их в юности, выдержали страшный груз тех лет, лавину событий и обстоятельств <...> Год проходил за годом, оба они менялись, женщины входили в его жизнь, иногда надолго, иногда нет, но «голубая», «вербная», «апрельская» любовь, бережно и ревниво хранимая, не покидала его...»².

Н. Дзудева, которая впервые попыталась включить «эпистолярный роман» А. Лебедева с М. Феддер в глубинный кон-

¹ Цит. по кн.: Щасная Л. Неоплатимый счет. С. 91.

² Феддер М. Л. Страницы лирической биографии (памяти Алексея Лебедева) / Публ. Н. В. Дзудевой // Откровение. Лит. -худ. Альманах. № 10. Иваново, 2004. С. 337-338.

текст биографии поэта, точно заметила: «Несомненно, что для Лебедева стилизованный характер эпистолярного сюжета стал сферой творчества: здесь находила выражение не востребованная временем, социальным контекстом часть личностного мира, требовавшая исхода, восполняя жажду творчества как бы на другом языке. Творчества не только эпистолярного, хотя Лебедев демонстрирует блестящее мастерство в этом жанре, не только литературного, хотя он признавался не однажды, что не прочь использовать этот материал для будущей прозы. Творчества поведенческого, выходящего за рамки расхожих стереотипов...»¹.

Между прочим, после открытия такого рода лирических страниц в жизни поэта-мариниста начинаешь многое переосмысливать в самих его стихах. Отчетливей предстает в них влияние Н. Гумилева и Киплинга. По-новому воспринимаются произведения, которые составляли раньше как бы периферию лебедевской поэзии. Вот хотя бы такое стихотворение:

Моя напрасная любовь,
Склоняя гордые колени,
Смирив бешеную кровь,
Прошу разлуки и прощенья.
Простите мой безумный пыл,
Объятий радость огневою,
Простите мне, что я любил
Лишь только Вас, а не другую.
За каждый мной отнятый час,
За мысль, за взгляд, за сновиденье
Простите – умоляю Вас.
Склоняя гордые колени,
Я был среди Вам близких лиц
Такой чужой и необычный,
Как дикий ястреб в стае птиц,
Таких домашних и привычных².

Сколько пыла и молодости и вместе с тем литературной игры! Здесь, говоря современным языком, присутствует ин-

¹ Дзудева Н. В. Алексей Лебедев — человек и поэт (По эпистолярным материалам) // Творчество писателя и литературный процесс. Нравственно-философская проблематика в русской литературе XX века: Межвуз. сб. науч. трудов. Иваново, 1991. С. 174–175.

² Цитируется по сборнику: Лебедев А. Морская сила. Иваново, 1945. С. 111. Насколько нам известно, в другие поэтические сборники оно не входило. Видимо, составители считали, что эти стихи противоречат привычному представлению об отважном поэте-маринисте.

тертекстуальное начало, стилизация, отсылки сразу и к Пушкину, и к Гумилеву, что не мешает, однако, автору оставаться самим собой. А с другой стороны, далеки от стандартных, типовых стихов о подвиге советских людей последние лирические откровения Лебедева. И не только такое широко известное стихотворение, как «Тебе» («Мы попросаемся в Кронштадте...»), но и, скажем, вот эти стихи:

Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зелено-голубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой.
А здесь ни грома и ни гула.
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником...
Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты
И прямо вверх устремлены...

Рядом с этим стихотворением — майоровское «Нам не дано спокойно сгнить в могиле» с его горько-патетическим финалом:

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждем приказа нового. И пусть
не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

Чем неотвратимей становилась война и напряженной звучала тема возможной гибели поколения в «поэзии 40-го года», тем в большей степени ощущали молодые поэты цену товарищества, земляческого братства. «Незнаменитая» финская война, этот своеобразный «Афган» в преддверии Великой Отечественной, стала тем событием, когда это братство стало осознаваться ими как жизненная необходимость преодоления «скорбного бесчувствия» смерти.

Первым из ивановцев, кто на себе почувствовал весь ужас военных будней, стал самый младший их них — Владимир Жуков. В боях на Карельском перешейке он получил тяжелейшее ранение и был начисто списан из армии. Впоследствии,

вспоминая «финскую», Жуков писал в стихотворении «Дорога мужества»:

В сороковом в пургу на перешейке
от финских скал она брала разбег.
Мороз был лют. Коробя телогрейки,
нас облетал, свистя, колючий снег.

В лицо наотмашь бил железный ветер,
срывая с лыж и сваливая с ног...
Я целый свет прошел – на целом свете
я не встречал потом таких дорог...

Вернувшись из госпиталя в Иваново, Жуков первым делом идет к Майрову, с которым дружил со школьных лет. Встретились в майоровском доме на 1-ой Авиационной. Далее слово Владимиру Семеновичу: «...Похлопали друг друга по плечу, присели на изрядно побитый диванчик да и проговорили до полуночи... И о том, страшно ли на войне. И что чувствуешь за пулеметом, ведя прицельный огонь?.. И не мерзнет ли вода в кожаных?.. И не загремит ли опять?.. И что я теперь намерен делать, поскольку правая рука едва ли разрабатается?.. И как здорово проявился Дудин: и книгу выпустил, и в толстых журналах публикуется. И что он, Майоров, из семинара Сельвинского перешел по Литинституту к Антокольскому <...> А из семинара Сельвинского ушел после того, когда он записал на доске два слова для рифмы и время засек, чтобы мы сложили по сонету... Это же тренаж для мальчиков!

А после паузы добавил:

— И все-таки, если не обойдется, а загремит — не миновать и мне пулеметной роты...»¹.

О том, что судьба младшего товарища взволновала Майорова, свидетельствует и цитированное выше письмо Николая Ирине Пташниковой, где воспроизводится эпизод встречи друзей в городском саду. Жуков характеризуется здесь следующим образом: «...Хороший приятель, он учился со мной в одной школе, писал стихи (и сейчас пишет), печатался в местных изданиях. Он года на 2–1 моложе, пожалуй, меня. Только что прошедшей осенью был взят в армию. Попал в Финляндию. Там он пробыл все время, пока длилась война. За несколько дней до заключения мира он получил две пули, обе в локоть правой руки. Сейчас, после лечения, прибыл из Крыма в двухмесячный отпуск. Парень похудел, короткие во-

¹ Тропинки памяти. С. 152–153.

лосы, глубокие и как-то по-особенному светлые глаза». И дальше идет рассказ о том, что, собственно и побудило Майорова к такому обширному повествованию о «хорошем приятеле»: «... Он грустно смотрел на проходящих по аллее девушек. Одну из них он окликнул. Это — его первая любовь, Галя. Она подошла к нам, увидев Володьку, изобразила на лице удивление. И тут же, словно спохватившись:

— Почему ко мне не заходишь?

— Я только с поезда.

— Да, но ты зайдешь! (Это — с повелением.)

— Может быть.

— А я говорю — ты ко мне зайдешь, — это она произнесла, как женщина, привыкшая встречать одобрение своих капризов. Мне стало страшно жаль Володьку. Парень измучен, только что зажила рана, он, как выразился, «всю Финляндию на животе прополз», а тут — повелительные восклицания пустышкой девушки, умеющей делать только глазки. Да надо бы человеку на шею броситься, взять его, зацеловать — он так давно всего этого не видел! А она вместо этого спокойно пошла по аллее, бросив на ходу:

— Ты зайдешь, слышишь!

И меньше всего думая о происшедшей (такой неожиданной!) встрече, больше любясь тем, как она сейчас выглядит. Есть же такие сволочи. Володьке сделалось неловко передо мной. Он долго после этого молчал. Так его встречает тыл! А ведь хороший и славный парень он! Все это меня очень тронуло».

В этом майоровском письме замечательно выражено то, что можно назвать чувством необходимости найти себя в другом, близком тебе человеке, разделить с ним все радости и горести, слить разные жизни в одну судьбу. Так еще до Великой Отечественной закладывалось нравственно-духовное основание фронтового поколения, то братство, которое станет его охранной грамотой не только в годы войны, но и после ее окончания. Доказательством тому служит жизнь и творчество тех, кому посчастливилось уцелеть в военном лихолетье и кому довелось рассказать горькую правду о «времени и о себе» не только от своего имени, но и от имени тех, кто «ушел, не долюбив, не докурив последней папиросы». И здесь нельзя не вспомнить о таких верных хранителях памяти поколения, какими оставались до конца жизни Михаил Дудин и Владимир Жуков.

В Литературном музее Ивановского университета хранится множество поэтических сборников В. Жукова, подаренных М. Дудину. Все эти сборники снабжены дружескими автографами. Приведем лишь некоторые из них. «Учителю и доброжелателю моему — хорошему Мише Дудину. 5 ноября 1952»; «Дорогому Михаилу Александровичу Дудину — с вечной любовью и с фронтовым приветом в день Победы. 9. 05. 1981г. »; «Дорогому моему земляку и побратиму и по двум войнам и по стихам — человеку, который навсегда в моем сердце, — ясноглазому Михаилу Александровичу Дудину — с провинциальным, но 30-летним творческим отчетом и с любовью. Автор. 70 г. ».

Их дружба началась в Иванове, за три года до войны. Михаил Дудин так вспоминал об истоках своих дружеских отношений с Владимиром Жуковым: «Когда мы познакомились, он оканчивал десятилетку, а я уже работал в газете. Мы жили на смежных улицах, заросших подорожником и разъезженных телегами. Около его дома была волейбольная площадка. На ней мы познакомились.

Мы были влюблены в одну девушку. Звали ее — Поэзия. Между нами не возникало ссор»¹.

Немаловажную роль в начале этой дружбы сыграл сам факт литературного землячества — общие учителя, давшие им путевку в большую поэзию. Среди них в первую очередь следует назвать А. Благова и Д. Семеновского. И в дудинском, и в жуковском творчестве мы найдем немало благодарственных слов об их изначальной литературной почве. В связи с этим интересно вспомнить об одном неопубликованном письме Дудина Жукову, помеченном 7 июня 1941 года, где, в частности, говорилось: «Хорошо бы нам в Иванове, именно в Иванове, сколотить крепкую группу из 5 настоящих /поэтов/... Так, чтоб все за одного и один за всех. Пора нам, Володька, делать что-то. Иваново — это совершенно особенный город, в нем можно все сделать. Он прямой Москвы и Ленинграда и чище. Правда, там (в Иванове, — Л. Т.) много тупого, а подчас просто не нашего, чужого, но это только больше обязывает нас».

Дудинским желаниям не дано было осуществиться. Война перечеркнула литературные планы поэта, утвердила его в ленинградском местожительстве, но не изменила его отно-

¹ Дудин М. Жестокий хлеб памяти // Дудин М. Поле притяжения. Проза о поэзии. Л., 1984. С. 20.

шения к литературному землячеству, которое становится для него все дороже.

Вернемся к истории дружбы двух ивановских поэтов.

«Паровоз свистнул, перечеркнул бравурный гром оркестра. Дым, прибитый октябрьским дождем к земле, заволок лица провожающих, и теплушки, набитые оптимизмом юности, перестукивая колесами на стыках рельсов, понесли нас навстречу тревожной солдатской судьбе»¹. В одной из теплушек вместе с Михаилом Дудиным (автором процитированных строк) находился и Владимир Жуков. Повестки в военкомат, присланные тому и другому в один день, сделали земляков соседями по вагону, колеса которого отсчитывали начало их фронтовой юности.

Поезд нес их к южной границе. Что случилось дальше, мы узнаем из очерка В. Жукова «Двадцать шагов вперед», посвященного Дудину. Здесь подробно воспроизводится день, когда молодые бойцы, среди которых находились ивановцы, были подняты по тревоге и командир полка произнес:

— В трудный для Родины час добровольно желающие грудью стать на защиту завоеваний революции... двадцать шагов вперед!

В какое-то мгновение плац захлестнула тишина, а потом произошло то, о чем Жуков никогда не забывал.

«Левей нашей третьей пулеметной роты и моего взвода и расчета, на самом левом фланге, взад-вперед покачнулся тесный квадратик артиллеристов, и видно было, как, опережая других, размашисто шагнул самый тощий и высокий, никогда не унывающий разведчик полковой батареи Михаил Дудин <...>

Может быть, поэтому шагнул и я...»²

Ивановцев направили на Карельский перешеек. В холодную пору Финской войны друзья виделись редко, но каким-то образом узнавали о главном в жизни друг друга.

В поэтическом сборнике М. Дудина «Фляга» (1943) помещено стихотворение «Мечта», где рассказана драматическая история из жизни солдата:

Он был настойчив и упрям,
Был ко всему готов.

¹ Дудин М. Поле притяжения. С. 20.

² Жуков В. Двадцать шагов вперед // Дудин М. Соловьи. Стихотворения. Поэмы. Ярославль, 1972. С. 5–6.

И он узнал назло врагам
Полет ночных ветров.
Как хлещет пулемет свинцом
И как поет металл.
Он смерти заглянул в лицо,
И он мужчиной стал.
Он шел вперед. Терял друзей,
И вот у эстакад
На двести пятьдесят смертей
Разорвался снаряд...

Герой дудинской баллады получает тяжелое ранение. Но не только физические страдания мучают его. Боли причиняет нравственная мука: в госпитале раненый узнает, что девушка, которую он любил, предала его. Автор баллады разделяет душевные мучения своего героя и хочет верить, что он, этот герой, найдет путь к своей мечте.

Однажды, беседуя с В. С. Жуковым, я поинтересовался: не ему ли посвящено это стихотворение и насколько соответствует «Мечта» жизненной реальности? В ответ услышал: «Все это так со мной и было... И ранение в последний день финской кампании. И известие то... о конце любви... Лечил Миша меня своими стихами». (Между прочим, как совпала реакция на беду друга Н. Майорова <см. выше цитированное письмо И. Пташниковой> с реакцией Дудина!)

И потом Жуков не раз ощущал поддержку земляка. Особенно нужна была эта поддержка в сорок первом году, когда по причине «белого билета» врачи не разрешали Жукову идти в действующую армию. Дудин хорошо понимал, как нелегко другу ощущать себя вне фронтового строя. «Главное, знаешь что, Володя, — говорится в одном из дудинских писем той поры, — надо как-то найти себя в это время самое необходимое место, работать, как можно больше. Только в том и найдешь иллюзию успокоения. Не успокоения, а чувство того, что долг выполнен. И выполнен не из чувства долга, а из чувства совести...».

Однако это был тот случай, когда слова друга не убеждали, не успокаивали (И Дудин, судя по самой сбивчивости советов в приведенном письме, понимал это). Жуков сделал все, чтобы преодолеть запреты врачей и снова оказаться на фронте.

Они так ни разу и не встретились в годы Великой Отечественной войны. Но, читая их письма друг к другу, все время ощущаешь: переписываются люди, которые только-

только расстались. Все у них общее: причастность к фронтовому братству, знание войны изнутри, преданность поэтическому делу, которое вершилось ими в далеких, казалось бы, для искусства условиях.

В письме Дудина, полученном Жуковым сразу после войны, есть такое признание: «Хочется мне, Володя, точно так же, как и тебе, поговорить о войне по-настоящему, в полный голос. Без скидок и оговорок на то, что мы окопные».

С каким-то особым вниманием вчитывается Дудин в первые послевоенные публикации Жукова. Он ищет в них не просто хорошие строки, образы (их немало). Он ждет от друга Слова. Слова, в котором бы отразилось их время во всей глубине, сложности, неповторимости. Отсюда и нелюбимая дружеская требовательность, нежелание смягчать те или иные оценки, «золотить пилюлю».

Обратимся к письму Дудина, где содержится отзыв о первом поэтическом сборнике В. Жукова «Солдатская слава» (1946). С одной стороны, Дудин очень рад выходу этого сборника в свет, с другой — он хочет скрыть, что ждал, ждет от друга неизмеримо большего. «У тебя есть все, — читал Жуков, — и способности, и, черт бы их побрал, наблюдения. Я с уверенностью могу сказать, что ты в десять раз видел и испытал больше интересного, чем я. Так зачем же надо подменять свои чувства, свои ощущения прописными истинами второстепенной значимости <...> Володя, милый, мне очень хочется, чтоб ты стоял выше этого. Чтоб ты не утратил благородной тревоги за новое, только тебе одному присущее слово, за то вечное ощущение поэзии, благодаря которому мы, собственно говоря, и живы остались».

Дудин не ошибся: первый сборник Жукова лишь намекнул на творческий «запас» поэта (не последнюю роль здесь сыграла и цензура). Нужно было время, чтобы этот запас проявился в полную силу.

Когда же это случится, Дудин в статье «Жестокий хлеб нежности» (одной из лучших о творчестве Жукова) с нескрываемой радостью и какой-то особой гордостью напишет о «рождении поэта из глубин испепеленной души поколения, беззаветно растратившего себя для грядущей жизни Родины...»¹.

¹ Дудин М. Поле притяжения. С. 22.

Каким предстает образ фронтового поколения в творчестве М. Дудина и В. Жукова? Как связан этот образ с «ивановским мифом»?

«Поэты 40-го» при всей их творческой проницательности не могли предвидеть того безмерного масштаба трагедии, которую несла с собой война. «Они не могли представить себе, что будут возможны горькие месяцы отступления, что фашисты будут бесчинствовать на нашей земле, что на Берлин придется идти не от Бреста и Перемышля, а от Химок и Новороссийска. Они бесстрашно смотрели в лицо самой жестокой судьбе, если это касалось их лично, но не могли они думать, что это будет испытание для страны, для народа»¹.

Дудин и Жуков выстрадали право говорить от лица тех, кто прошел через само горнило войны, кто чудом остался жив и при этом остался верен основным заветам своей молодости. «Я видел собственными глазами, — писал Дудин в книге «Поле притяжения», — во время нашего наступления 1944 года распластанную в растоптанном снегу в кювете беременную женщину с обнаженным животом, в котором торчал вонзенный по рукоять плоский немецкий штык, а около ног женщины, воткнувшись в сугроб головой, раскинув сведенные в локтях руки, лежал убитый немец.

Ненависть рождала только ненависть.

Кровь требовала расплаты только кровью.

Но я видел, как цвела дикая земляника на минном поле и как трясогузка высиживала птенцов в гнезде, устроенном над амбразурой артиллерийского капонира.

И я понял одну великую мудрость жизни, что надо жить не назло врагу, а на радость другу»².

В. Жуков, как никто, знал «чернорабочую» сторону войны. Именно об этом его «Пулеметчик» (1945) — «визитное» произведение жуковского творчества:

С железных рукоятей пулемета

Он не снимал ладоней

В дни войны...

Опасная и страшная работа.

Не вздумайте взглянуть со стороны.

¹ Лазарев Л. Это наша судьба. Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне. М., 1978. С. 82.

² Дудин М. Поле притяжения. С. 13–14.

В поэзии Жукова принципиально и настойчиво утверждалась та «окопная правда», которую сполна познал и он сам, и его товарищи. Надо было ощутить войну изнутри, побыть лейтенантом, «а по-фронтовому Ванькой-взводным», без которого нельзя представить будни минувшей войны, чтобы так писать о войне, как писал о ней Жуков. Вспомним хотя бы его «Атаку» (1943):

Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто – до победного привала,
кто в здравотдел, кто в земотдел.

Такое не выдумаешь. Надо было самому испытать физически этот «полуприсест», этот бросок в страшную неизвестность, когда никто из устремленных в атаку не может знать, останется ли он в живых...

До конца дней своих Жуков не освободится от мучительной «окопной памяти», а потому и через тридцать, сорок лет после окончания войны снова и снова писал о своем:

И вновь как рана ножевая –
траншейка с глиной на стерне...
Не вспоминаю – проживаю,
зачем-то в кадрики сжимаю
все то, что было на войне...

И Дудин, и Жуков, постигая страшную правду войны, открывали и ту страшную цену, какой пришлось расплатиться за победу. Цена эта — миллионы человеческих жизней. Отдельных и неповторимых. И самый пронзительный мотив в поэзии — мотив воскрешения ушедших. Среди них — дорогие их сердцу ивановцы.

Поэтический мартиролог Дудина, посвященный землякам, открывается стихотворением «Памяти Алексея Лебедева», написанным в 1942 году:

Мы должное твоей заплатим славе.
Мы двести раз пойдем в упрямый бой.
Мы до конца гордиться будем вправе
Твоею песней и твоей судьбой...

В огненной круговерти войны поэт-солдат ставит другу свой стихотворный памятник, который должен быть долговечней памятника из камня, «обтесанного соленой водой». Долговечней, потому что в стихах можно и нужно сохранить

живую суть ушедшего. И не случайно в легендарно-патетический строй стихотворения о Лебедеве органически включается личный «ивановский штрих»: «...Я вновь хочу с тобою рядом быть, // Опять читать стихи о Робин Гуде, // По улицам Иванова бродить».

Позже, читая сборник «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», изданный в Большой серии «Библиотеки поэта», Дудин с не меньшей остротой, чем на войне, ощутит «круговую поруку между павшими и живыми» и свой рассказ о поэтах, представленных в этой книге, начнет так: «Многие из них были моими друзьями. Многих из них я знал по голосу <...> И все они живы для моей души. Они просто отошли от нашего общего костра на рассвете. К вечеру они обязательно вернутся и подбросят дров в незаходящее пламя.

И первым подойдет к костру мой друг по Иванову, штурман подводной лодки, коренастый крепыш Алексей Лебедев, притушит короткую трубку, взглянет на Полярную звезду и, немного картавя, прочтет:

Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать, —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель»¹.

Второй, кто подходит к дудинскому костру, — это тоже земляк, политрук пулеметной роты Николай Майоров. С «юношеской стеснительностью» читает он начало своего «Мы»: «Есть в голосе моем звучание металла. / Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. / Не все умрет. Не все войдет в каталог...»

А дальше мы слышим оттуда такие его слова: «... Я очень много думал о будущем, но в будущем я уже ничего не напишу:

¹ Дудин М. Поле притяжения. С. 82–83.

проклятая пуля в февральской метели под Смоленском лишила меня этой возможности»¹.

Для Владимира Жукова гибель Майорова на всю жизнь осталась «ножевой раной». Иногда ему казалось, что в какой-то мере он, Жуков, повинен в раннем уходе друга из жизни. В воспоминаниях о Майорове он с горечью замечает: «... Мне порой думается: не поведай я Майорову о пулеметчиках, когда вернулся с финской, он бы выжил в годы Отечественной. Нет, в тылу он бы не усидел: не тот характер! Но в пулеметчики мог бы и не угодить...»² В стихах «Памяти Майорова» (1975) об этом чувстве «невольной вины» сказано так:

Таскался квиток и за мной по пятам,
с того и доподлинно знаю,
что самые-самые ... рухнули там –
на кромке переднего края.

А мы постарели, любви не тая,
и в том не повинны нимало...
Так что ж мне все мнится,
что участь твоя
меня не вдруг миновала?

Выделим здесь одно из принципиальных для автора убеждений: «самые-самые рухнули там...». Майоров для Жукова — самый-самый. Об этом прямо говорится в другом жуковском стихотворении, посвященном памяти друга:

Он был средь нас добрее всех,
умнее всех, прямее всех,
а в день повесток – в трудный день –
еще к тому ж – смелее всех.

Жуков, как и Дудин, пытается вернуть в настоящее ушедшего в инобытие друга во всей его духовно-плотской, если можно так выразиться, сути:

А он глядел во все глаза
на мир из света и воды.
В слух уходил – звенит роса,
скрипят на веточках плоды.
Вот чья-то женщина идет.
Наверно, чья-то. Не ничья.
Бровей разлет, руки полет,
любая жилочка поет...

¹ Там же. С. 83–84.

² Тропинки памяти. С. 151.

Такая – да еще б ничья!

Не обернулась.. Ладно, что ж,
в запасе – жизнь. Ударит час –
полюбят, может быть, и нас,
мир и без этого хорош.

Еще мы шли на эту ложь.
Но он, лукавя, понимал,
что без любви не проживешь,
что сам себя не проведешь –
мир без нее и тускл и мал...

(«Николай Майоров», 1959)

Эти стихи отмечены особым протеизмом. Лирический герой Жукова на миг перевоплощается в того, о ком он пишет. И здесь становится весьма уместным своеобразное цитирование майоровского «Августа» («мир из света и воды»), напоминание об интимной лирике автора «Мы». Но главное то, что сам Жуков рассматривает свою жизнь как продолжение судьбы погибшего друга. Юношеский максимализм, свойственный «поколению 40-го года», к которому были когда-то причастны молодые поэты из Иванова, преодолевается накопленным в суровых испытаниях жизненным опытом, и на расстоянии стал проступать главный, потаенный смысл их судеб. Только тот, кто ушел раньше, не успел выразить это. Но, уходя, он знал, что другой, оставшийся в живых, близкий по духу человек, доскажет за него о непрожитой им жизни. Жуков досказал Майорова по полной братской мере. Именно Владимиру Семеновичу мы обязаны выходом в свет сборника стихов Майорова «Мы были высоки, русоволосы» (1969), который и на сегодняшний день остается единственной книгой этого замечательного поэта. Так и слышится мне сейчас голос Жукова, который любил повторять, особенно в пору его работы над майоровским сборником: «Если бы Коля остался жив, нам всем нечего было бы делать в поэзии...». Конечно, Жуков, говоря так, явно преуменьшал свою роль в поэзии. Но какая горькая, личная мера недопроявленного таланта погибшего друга!..

По существу, и Дудин, и Жуков, как и собратья их по военной судьбе, независимо от того, были они атеистами, коммунистами или нет, в своем стремлении воскресить в стихах павших внутренне приближались к христианству с его верой в бессмертие души. Философской основой того лучшего, что создали «фронтовики», становилось отрицание забвения и, как следствие, воскрешение добра, поруганной

красоты, поправленного слова. Но путь поэтов военной судьбы, как и фронтового поколения в целом, нельзя видеть лишь через призму высокой, героической легенды. Сейчас все в большей мере осознаются трагические обертоны существования этого поколения.

Вспомним трудное вхождение «фронтовиков» в мирную действительность. Об этом говорится в одном из самых пронзительных произведений М. Дудина — в поэме «Вчера была война». Степенью ее драматизма объясняется тот факт, что созданная в 1946 году, она была полностью напечатана только лишь в начале шестидесятых годов. На первом плане этого произведения — стихия смятенных, часто не управляемых разумом чувств. Чем они вызваны? Лирический герой поэмы оказался на распутье между войной и миром. Как жить дальше? Как связать прошлое с будущим? Вот вопросы, на которые он хочет и не может пока получить ответов. В какой-то момент ему кажется, что историческая миссия, выпавшая на долю его поколения, уже выполнена. Пришла пора подводить итоги. Он пытается это сделать. И оказывается, до «вершин» еще очень далеко. Гордость за свое поколение и в то же время тревожное беспокойство — а что дальше? — пронизывает монолог лирического героя поэмы, обращенный к потомку:

Ты сам поймешь. Ты не посмотришь косо
На жизнь мою, на угловатый стих.
Я не картину — черновой набросок
Тебе оставил о делах своих.

Уж слишком необузданным и быстрым
Был наш тяжелый, раскаленный век.
Размашисто, безжалостно, как выстрел,
Горел и рассыпался человек.

О, как мы жили! Горько и жестоко!
Ты глубже вникни в страсти наших дней.
Тебе, мой друг, наверно, издалека
Все будет по-особому видней.

Мы лишь костями выстлали дорогу,
А сами не добрались до вершин.
А ты клянись торжественно и строго
Все довершить, что я не довершил...

Автор поэмы «Вчера была война» передоверяет таким образом послевоенное время людям следующего поколения. А что же остается ему? Произведение кончается словами: «И если есть на свете бог, // Так это ты — Поэзия». Увы, этот пре-

краснодушный вывод часто у Дудина и других поэтов-фронтовиков оборачивается во второй половине сороковых — начале пятидесятых годов имитацией поэтического творчества, иллюстрацией к пресловутой теории бесконфликтности, насаждаемой послевоенной критикой. Идеи, которыми жило «поколение 40-го года», за которые гибли молодые советские романтики, отвердевали, становились, как сейчас говорят, концептом. Наступала пора «смерти автора» в поэзии фронтового поколения, особенно в ее «гражданской» части. «Мы мирные люди сегодня, старик. // Малиновый полдень над нами стоит, // Сверкает кипучим огнем вдохновенья, // Горячим трудом моего поколенья»; «Я лучшие чувства словам передам, // Чтоб птицей летели слова по рядам, // Чтоб в сердце входила, чиста и строга, // На радость друзей, боевая строка, // Чтоб честные люди на светлой земле // Считали меня коммунистом!» Неужели эти вымороченные стихотворные строки принадлежат автору поэмы «Вчера была война»? К сожалению, это так. И Жуков, написавший «Атаку» и «Пулеметчика», выпускает в 1952 году поэтический сборник с характерным названием «Светлый путь», где декларирует в стихотворении, давшем название этой книге:

Не беда, что все некогда нам отдохнуть, —
Нам шагать и шагать в лучезарные дали.
Оглянись, современник, на пройденный путь,
Дух захватит, какой мы конец отмахали!..

Пусть враги задыхаются в злобстве тупом,
Строят козни, мечтая о дьявольском деле.
Но сильнее во сто крат грозных атомных бомб
Непременная правда марксистской идеи...

Политическая ангажированность, художественная слабость подобного рода вирш не подлежат сомнению. В сущности это были стихи, удостоверяющие идеологическую благонадежность авторов в глазах государства, и не более. А. Т. Твардовский, которого В. Жуков считал своим учителем, однажды написал своему ивановскому ученику по поводу такого рода сочинений: «...Все это — производное. Все это от неполной правдивости и искренности тона, от «самоцензуры, которую Вы поставили над своим настроением. Захотелось Вам выразить чувство некоей грусти о том, что «прошло и стало милым» — о фронтовых днях и ночах, солдатской службе и т. д. Но вы тут же соображаете: а не противоречит ли это пафосу послевоенного строительства? И начинаете уверять себя и друзей своих, что,

собственно, никакой грусти нет, что «с лесов послевоенной пятилетки нам всем сегодня виден коммунизм». И получилось, что вроде и не о чем толковать»¹.

Возвращение «фронтовиков» к настоящей поэзии в эпоху «оттепели» началось с очнувшейся «жестокой памяти войны», с возвращения к теме живого фронтового братства, о котором говорилось выше. Но они так и не смогли выработать новую жизненную, идеологическую концепцию, которая помогла бы утвердить завет Н. Майорова, содержащийся в финальных строках стихотворения «Мы»:

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

Поэты фронтовой судьбы в своем позднем творчестве оставили честные свидетельства своей тревоги и растерянности перед этой новой действительностью. И за это их нельзя не уважать.

Осознание трагической сути своего поколения отчетливо звучит в последних поэтических книгах М. Дудина. Особенно показателен в этом плане его последний сборник «Дорогой крови по дороге к Богу» (1995), увидевший свет уже после смерти автора.

Мы мир земной разграбили, губя,
Вломились в небо, отстранили Бога
И скинули ответственность с себя.
И заблудились...

(«Надпись на книге Д. Фрезера
«Фольклор в Ветхом завете»)

Там – море крови позади.
Там, впереди, – пустыня.
И еле теплится в груди
Забытая святыня.

(«Из дневника Гамлета»)

Не спасли нас свои скрижали
В роковой сатанинский час.
И пророки от нас сбежали,
Прихватив золотой запас.

(«Я – горнист боевой тревоги...»)

¹ Твардовский А. О литературе. М., 1973. С. 254.

